

*Кейти Николсон, Клер Даймонд
и Джеймсу Смиту
посвящается*

Первая

Молочник умер в тот самый день, когда Какего Маккакого приставил пистолет к моей груди, назвал кошкой и грозил меня пристрелить. Его прикончила одна из расстрельных команд той страны, и я не испытывала на этот счет никаких эмоций — пристрелили и пристрелили. Но другие очень даже испытывали, и некоторые из них, говоря попростецки, «знали меня в лицо, но знакомы со мной не были», и обо мне пошли разговоры, потому что они пустили слух, или, вероятнее, слух пустил первый зять, что у меня, восемнадцатилетней, был роман с этим сорокаоднолетним молочником. Я знала его возраст не потому, что его застрелили и об этом написали медиа, а потому, что за несколько месяцев до этого ходили разговоры среди людей, которые и пустили слух, что сорок один и восемнадцать — это отвратительно, что разница в двадцать три года отвратительна, что он был женат, и мне никому не удастся заморочить голову, потому что вокруг находилось много тихих, незаметных людей, которые потихоньку приглядывали за мной. Вроде как я сама и была виновата в этом романе с молочником. Но у меня не было никакого романа с молочником. Молочник мне не нравился, и его преследования, попытка завести со мной роман пугали и сбивали меня с толку. Первый зять мне тоже не нравился. Он в своей навязчивости придумывал всякие небылицы про сексуальную жизнь людей. Про мою сексуальную жизнь. Когда я была помладше, лет двенадцати,

когда он появился с возвращением моей старшей сестры, после того как ее бойфренд, с которым она прожила не один год, получил от нее отказ за то, что ходил налево, этот чел обрюхатил ее, и они тут же поженились. Он делал на мой счет и для меня непристойные замечания с самого первого дня, как меня увидел — говорил о моей вазочке, о моей мохнатке, о моей веселушке, моей коробочке, моей кружке, моем гнездышке, моей двустворке, — но при этом использовал и другие слова, сексуальные слова, которых я не понимала. Он знал, что я их не понимаю, но я и тогда знала достаточно, чтобы почувствовать, что они сексуальные. И это доставляло ему удовольствие. Ему было тридцать пять. Двенадцать и тридцать пять. Разница тоже была в двадцать три года.

Он отпускал свои замечания и даже чувствовал себя обязанным отпускать эти замечания, а я молчала, потому что не знала, как реагировать. Он никогда не ехидничал на мой счет, если сестра находилась в комнате. И неизменно, стоило ей выйти, как в нем словно кто-то щелкал выключателем. Во всем этом имелось и положительное: никаких физических поползновений с его стороны не было. В те времена и в тех местах насилие оставалось главным критерием, по которому судили окружающих, а я сразу же увидела, что насилия в нем нет, что он из другого вида. И все равно его хищническая натура каждый раз погружала меня в ступор. Так что он был куском дерьма, а у сестры тяжело протекала беременность — она все еще любила прежнего долгосрочного бойфренда и не могла поверить в то, что он сделал с ней, что он по ней не тоскует, потому что он ничуть не тосковал. Он теперь жил с какой-то другой. Сестра вообще его больше здесь не видела, потому что вышла замуж за этого, который постарше, но она сама была слишком молода, и слишком несчастна, и слишком влюблена — но не в него, — чтобы увлечься этим. Я перестала к ним заходить, хотя она и гру-

стила, но я больше не могла выносить его слов и гримас. И вот, через шесть лет, в течение которых он пытался помогать меня и моих других старших сестер, но мы все трое — напрямую, косвенно, вежливо и не очень — давали ему отлуп, на сцене неизвестно откуда появился молочник, тоже без приглашения.

Я не знала, чьим он был молочником. Не нашим — точно. Думаю, ничьим. У него и молока-то никакого не было. Он никогда не привозил молоко. И молочную цистерну не водил. Машины он водил разные, часто крутые, хотя сам был никакой не крутой. И при этом я заметила и его самого, и его машины, только когда он настырно стал появляться в них передо мной. Потом вдруг возник этот фургон — маленький белый неприметный трансформер. Время от времени его видели за рулем и этого фургона.

Как-то раз я шла, читая на ходу «Айвенго», а он появился в одной из своих машин. Я часто читала на ходу. Не видела в таком чтении ничего плохого, но, в конечном счете, и это вместе со всеми другими делами обернуло против меня. «Чтение на ходу» — это явно имелось в списке.

«Ты одна из таких девчонок угадай-ка, да? А папу у тебя звали так-то и так-то? Твои братаны — энтот, энтот, энтот и энтот играли в команде по хоккею на траве, верно? Прыгай сюда. Подвезу».

Это было сказано как-то так, походя, с уже открывающейся пассажирской дверью. Я с испугу бросила читать. Не слышала, как он подъехал. И не видела никогда прежде этого чувака за рулем. Он высовывался, смотрел на меня, улыбался и своей любезностью показывал расположение. Но теперь, когда мне стукнуло восемнадцать, улыбка, любезность, расположение меня как раз и настораживали. Дело было не в предложении подвезти. Люди с машинами часто здесь останавливались и предлагали людям их подвезти — то ли сюда, то ли отсюда. Машины в те времена были не в изобилии, а общественный транспорт из-за тер-

рористических угроз и похищений ездил с жуткой нерегулярностью. Понятие «знакомство с колес»¹, возможно, и было признано, но как практика это явление порицалось. Я с таким точно никогда не сталкивалась. Как бы то ни было, никакого «подвезти» мне не требовалось. Это если по большому счету. Я любила ходить — ходить и читать, ходить и думать. А еще я конкретно не хотела садиться в машину к этому мужику. Но я не знала, как это ему сказать, потому что он не вел себя грубо, знал мою семью, потому как вручил верительные грамоты — назвал мужчин в моем семействе, и я не могла быть грубой, потому что он не был грубым. «Я гуляю, — сказала я. — Я читаю», — и показала ему книгу, словно «Айвенго» должен был объяснить мою прогулку, потребность прогуляться. «Ты можешь и в машине читать, — сказал он, и я не помню, что на это ответила. Затем он рассмеялся и сказал: — Не бери в голову. Не беспокойся. Наслаждайся своей книгой там». Он закрыл дверь и уехал.

В первый раз больше ничего и не случилось, а слухи пошли сразу же. Появилась старшая сестра, потому что ее муж, мой сорокаоднолетний зять, послал ее проведать меня. Она пришла проведать и остеречь меня. Сказала, что люди видели, как я разговаривала с этим типом.

«Иди в жопу, — сказала я. — Что это еще значит “люди видели”? Кто меня видел? Твой муж?»

«Ты лучше слушай меня», — сказала она. Но я не хотела слушать — из-за него и его двойных стандартов. И из-за того, что смирилась с ними. Не знаю, но я почему-то винила ее, давно винила, за его бесконечные замечания, обращенные ко мне. Винила за то, что она вышла за него, хотя и не любила, да и уважать никак не могла, потому что

¹ Английское выражение *kerb-crawling* — буквально: «езда на малой скорости вдоль тротуара», — обозначает способ знакомства с женщиной с определенной целью, поиск проститутки. — *Здесь и далее примеч. пер.*

она знала — да и как могла не знать? — про его хождения налево.

Она пыталась настаивать, все советовала мне, как я себя должна вести, предупреждала, что ничем хорошим это не кончится, что из всех мужчин этот... Но я уже наелась. Я была в ярости, принялась еще браниться, потому что она не любила брань, а ее только так и можно было выпроводить. Потом я кричала вслед ей в окно, что если этот трус хочет мне что-то сказать, то пусть придет и скажет сам. Это была ошибка: не стоило так взвинчиваться, не стоило высовываться и орать прилюдно в таком взвинченном состоянии, кричать в окно, на улицу, позволить так спровоцировать себя. Обычно мне удавалось не попадаться. Но я разозлилась. Во мне накопилось столько злости — на нее, за то, что она такая покорная жена, всегда делает точно, что он ей скажет, на него, за то, что пытался охмурить меня своими мерзотностями. Я уже чувствовала собственное упрямство, мое «не суй свой нос» крепло. К сожалению, всякий раз, когда это случалось, я становилась жутко своенравной, отказывалась извлекать уроки из случившегося и, что называется, готова была себе уши отморозить, лишь бы всем досадить. Что же касается слухов обо мне и молочнике, то я, даже не задумавшись, пропустила это дело мимо ушей. Сплетни приливали, отливали, приходили, уходили, выбирали другую цель. И потому я не придавала значения этому роману с молочником. Потом он появился опять — на сей раз пешком, это случилось, когда я бегала в парках с верхними и нижними прудами.

Я была одна и на сей раз без книги — на бегу я никогда не читаю. А тут опять он, откуда ни возьмись. На этот раз он побежал бок о бок со мной, хотя никогда прежде его тут не бывало. И вот мы уже бежали вместе, словно всегда так вместе бегали, и я опять испугалась, как я всегда потом пугалась, встречая этого человека, кроме последнего раза. Поначалу он молчал, а я и говорить не могла. Потом он

заговорил, начал откуда-то с полуслова, всегда словно продолжая начатый разговор. Говорил он короткими словами и немного напряженно, потому что я набрала быстрый темп, а говорил он о том, где я работаю. Он знал мою работу — где она находится, что я там делаю, в какие часы, дни, знал, что я каждый день утром сажусь на автобус двадцать минут девятого, если его не угоняют, и еду в город. Еще он сообщил мне, что я никогда не возвращаюсь этим автобусом домой. Так оно и было. Каждый рабочий день, в хорошую погоду и непогоду, во время перестрелок или взрывов, перемирий или беспорядков я предпочитала идти домой пешком, читая на ходу. И всегда это была книга девятнадцатого века, потому что я не люблю книги двадцатого века, потому что я не люблю двадцатый век. Оглядываясь назад, я думаю, молочник и обо всем этом тоже знал.

И вот он говорил свои слова на бегу вдоль одного из берегов верхнего пруда. Был еще и нижний пруд, поменьше, у детской игровой площадки. Он смотрел вперед, этот тип, когда говорил со мной, ни разу на меня не взглянул. Во время этой второй встречи он не задал мне ни одного вопроса. Да и ответов от меня ему, похоже, никаких не требовалось. Впрочем, никаких ответов я сама и не могла дать. Я все еще пребывала в состоянии «откуда он взялся на мою голову?». И еще: почему он вел себя так, будто знает меня, будто мы знаем друг друга, тогда как мы друг друга не знаем? Почему он считал, будто я не возражаю против его присутствия рядом со мной, тогда как я возражаю? Почему я не могла просто остановиться и сказать этому типу, чтобы он оставил меня в покое? Только спустя время — и я не имею в виду спустя час — мне в голову пришли другие мысли, кроме «откуда он взялся на мою голову?». Говоря «спустя время», я имею в виду мои двадцать лет. А в то время, в возрасте восемнадцати лет, будучи воспитанной в обществе, члены которого заводились с полоборота, где

базовые принципы были: если по отношению к тебе не было допущено насильственных действий, если на тебя не вывалили кучу словесных оскорблений, если тебя не мерили издевательскими взглядами, то ничего и не случилось, ты не могла считаться пострадавшей от того, чего не было. В восемнадцать я толком не понимала действий, которые могли рассматриваться как посягательство. Я их ощущала, чувствовала интуитивно; некоторые ситуации и люди вызывали у меня отвращение, но я не знала, что интуиция и отвращение имеют значение, не знала, что у меня есть право испытывать неприязнь, не мириться с любым и всяким, кто вторгается в мое личное пространство. Максимум, на что я была способна в те дни, — это надеяться, что те лица поспешат сказать то, что дружелюбие и любезность велят им сказать, а потом исчезнут, или исчезну я, вежливо и быстро, в самый первый момент, когда появится такая возможность.

С этой второй встречи я знала, что молочника тянет ко мне, что он ко мне клеится. Я знала: мне не нравится, что его тянет ко мне, и я сама к нему ничего такого не чувствую. Но никаких прямых слов о том, что он ко мне чувствует, он не сказал. И еще: никаких вопросов он мне не задавал. И физически ко мне не прикасался. Он даже ни разу не посмотрел на меня во время этой второй встречи. К тому же он был старше меня, гораздо старше, а потому я спрашивала себя, может, я ошибаюсь, может, я выдумываю всю эту ситуацию? А что касается бега, то мы находились в общественном месте. Тут днем просто было два больших соединенных парка, а по вечерам — опасная среда, хотя и днем опасностей хватало. Люди не любили признавать, что там наверняка опасно, потому что все хотели, чтобы имелось хотя бы одно место, куда они могут пойти. Я не владела этой территорией, так что у него были такие же права бегать там, как и у меня, точно так же, как у ребят в семидесятые было право распивать там спиртное, точно

так же, как ребята чуть постарше, позднее, в восьмидесятые, чувствовали себя вправе нюхать там клей, а люди еще постарше, в девяностые, приходили туда колотиться героином, так же, как сегодня местная полиция пряталась там, чтобы фотографировать врагов той страны. Еще она фотографировала известных и неизвестных пособников врагов той страны, именно это тогда и случилось в том самом месте. Когда я с молочником пробежала мимо куста, раздался громкий шелчок, а я мимо этого куста тысячу раз пробежала, и никаких шелчков оттуда не доносилось. Я знала: в тот раз это случилось из-за молочника и его участия, а под «участием» я подразумеваю связи, а под «связями» я подразумеваю активное сопротивление, а под «активным сопротивлением» я подразумеваю врага той страны из-за политических проблем, которые существовали в это время. Значит, теперь я должна была оказаться в каком-то досье, на какой-то фотографии, как прежде неизвестная, а теперь определенно известная пособница. Этот молочник сам ни слова не сказал про тот шелчок, хотя не услышать его было невозможно. Я же прореагировала тем, что стала резвее работать ногами, чтобы уже закончить эту совместную пробежку, и тоже сделала вид, что ничего не слышала.

Но он тут же прекратил наш бег, и мы уже теперь не бежали, а шли. И это не потому, что он был в плохой форме, просто он был не бегун. Все это беганье у прудов, где я никогда не видела его бегающим прежде, ни разу не касалось собственно бега. Я знала, что все это беганье было ради меня. Он дал это понять, потому что перешел на шаг, замедлил бег, чтобы перейти на шаг, но я знала, что такое шагать, и для меня ходьба во время бега была совсем не тем, что мне требовалось. Я, однако, не могла так сказать, потому что не могла быть в более хорошей форме, чем этот человек, не могла знать о моей собственной жизни больше, чем этот человек, потому что положение мужчины и женщины здесь никогда бы такого не позволило.

Это была территория «я мужчина, ты женщина». Это было то, что ты, если ты девочка, могла сказать мальчику, или женщина — мужчине, или девушка — мужчине, и это было то, что тебе — по крайней мере официально, по крайней мере на публике, по крайней мере часто — не позволялось говорить. Некоторым девушкам затыкали рты, если они решали, что они не подчиняются мужчинам, не признают превосходства мужчин, некоторые могли даже зайти так далеко, что чуть ли не противоречили мужчинам, главным образом, непутевый тип женщин, тип пренебрежительный и слишком самоуверенный. Но не все мальчишки и мужчины были такими. Некоторые смеялись и находили оскорбленных мужчин забавными. Эти мне нравились — и мой наверный бойфренд был из таких. Он рассмеялся и сказал: «Ты меня разыгрываешь! Не может быть, чтобы дела обстояли так плохо. Неужели и вправду?», это случилось, когда я упомянула о знакомых парнях, которые ненавидели друг друга, но объединялись в ненависти к шумливости Барбры Стрейзанд; парнях, разгневанных на Сигурни Уивер за убийства этого существа в новом фильме, тогда как ни один мужчина в этом фильме не мог его убить; парнях, злившихся на Кейт Буш за то, что она похожа на кошку, злившихся на котов за то, что они женственны, хотя я не сказала ему о том, сколько котов находят убитыми и искалеченными по самое не балуйся, вплоть до того, что в моем районе осталось их всего ничего. Я вместо этого закончила на Фредди Меркьюри, которым все еще восхищались, пока можно было не признавать, что он того — педик, после чего мой наверный бойфренд поставил кофейник: из всех, кого я знала, только у него и у его дружка шеф-повара были кофейники — потом сел и снова рассмеялся.

Это был мой «чуть ли пока не годичный наверный бойфренд», с которым я встречалась вечером по вторникам, время от времени вечером по четвергам, потом чуть не по всем вечерам с субботы на воскресенье. Иногда каза-